Обручённая с приливом



Ной Каллен

Ной Каллен
Обручённая с приливом

https://litres.ru/74887053
SelfPub; 2026

Аннотация

Меня поймали с ящиком контрабандного чая и предложили выбор: каторга или помолвка с послом из-за Стены.

Илан из Дома Глубин ненавидит обувь, обожает хлеб и задаёт вопросы, от которых краснеет весь совет герцога. Его народ люди веками называют утопленниками. Наша помолвка — всего лишь залог перемирия на восемь недель весенних приливов. Никаких чувств. Никаких поцелуев, кроме обязательных.

Только кто-то очень хочет, чтобы мой жених не дожил до конца сезона. А я, кажется, хочу, чтобы он не уплывал никогда.

— Фальшивая помолвка

— Столкновение двух миров

— Дерзкая контрабандистка и посол морского народа

— Можно читать отдельно, история закончена

Содержание

Глава 1. Посол 5
Глава 2. Жених 18
Глава 3. Покушение 31
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Ной Каллен
Обручённая с приливом

Ной Каллен

Обручённая с приливом

Солёный Предел. Книга 2

© Ной Каллен, 2026. Все права защищены.

Глава 1. Посол

Ящик был лёгкий, и это Рен потом себе так и не простила.

Хороший чай весит, как совесть приказчика, то есть почти ничего, но лёгкий ящик под мышкой бегущей девушки выглядит подозрительно. Тяжёлый ящик выглядит как работа. Тяжёлый ящик несут медленно, ругаясь, и никто на него не смотрит. А она неслась по Селёдочному спуску в пять утра, в тумане, прижимая к боку двенадцать фунтов лучшего южного листа, и таможенник Пибоди, который обычно в это время спал в будке у Третьего причала, вдруг не спал.

— Хейл! — заорал он так радостно, будто нашёл кошелёк. — Стоять, Хейл!

Рен не стала стоять. Она свернула в проход между коптильнями, где пахло дымом и горячей скумбрией, перепрыгнула через бочку, проскочила под сохнущими сетями и выскочила к воде, где у сваи ждала «Кошка». Оставалось три шага. Два.

На корме «Кошки» сидел второй таможенник и ел пирожок.

— Доброе утро, — сказал он с набитым ртом.

— Было, — сказала Рен.

* * *

Допросная на Гильдейской улице была узкой и холодной, с окном под самым потолком, в котором виднелись чьи-то

сапоги. Сапоги ходили туда-сюда. Рен смотрела на них уже второй час, потому что больше смотреть было не на что: стол, два стула, её ящик чая с сорванной пломбой и мужчина в потёртом сером плаще, который грыз яблоко.

Маттиаса Крейна в Хольме знали все, кто хоть раз прятал что-нибудь под половицей. Прошлой осенью он чуть не посадил её сестру, потом посадил лорда-стража, потом выпустил лорда-стража и посадил ростовщика Квилла, и после этого порт решил, что королевский дознаватель хуже тумана: тоже лезет во все щели, но туман хотя бы рассеивается к полудню.

— Двенадцать фунтов, — сказал Крейн и откусил ещё. Яблоко было зелёное, кислое даже на вид. — Южный лист, первый сбор, пломба поддельная, но хорошая. Кто резал печать?

— Сама.

— Вы режете печати?

— Я много чего режу. Хлеб, например. Верёвки. Пальцы иногда, когда отвлекаюсь.

Он что-то записал.

— Это ваш четвёртый ящик за весну.

— Третий.

— Четвёртый. Третий вы утопили у Лисьих камней, когда за вами пошла патрульная шлюпка. Мне рассказал рыбак, который его потом выловил. Чай, к слову, он высушил и продал. Так что вы, госпожа Хейл, ещё и несёте убытки.

— Слушайте, — сказала она. — Сестра у меня теперь по-

чти леди. Скоро свадьба. Лорд-страж мне без пяти минут родственник. Может, договоримся по-семейному?

— Ваша сестра, — Крейн аккуратно положил огрызок на край стола, черенком вверх, — лично попросила меня не делать для вас исключений. Цитирую: «Если вы её отпустите, она решит, что так можно». Конец цитаты. Очень разумная женщина. Повезло лорду Вейну.

— Предательница.

— Каторжные работы на соляных разработках. Год. Это по закону. Я могу попросить полгода, если вы назовёте, кто купил чай.

Рен подумала о соляных разработках. Там белая пыль ест глаза, и через месяц у людей трескаются губы, а через полгода руки становятся как у старух. Она видела тех, кто возвращался. Она подумала и о Гарте Лоскуте, который ждал свой чай в задней комнате «Трёх селёдок», и о том, что Гарт делает с теми, кто называет его имя.

— Чай для меня, — сказала она. — Я много пью. Нервы.

Крейн вздохнул, почти по-человечески, и в этот момент в дверь постучали так, что с полки упала чернильница.

На пороге стоял мальчишка-посыльный в цветах герцога, мокрый, красный и перепуганный.

— Господин дознаватель! Совет! Срочно! Они… он… вышел из воды! Прямо у Соляной башни! Говорит, он посол!

Крейн поднялся, взял плащ. Посмотрел на Рен, на ящик, снова на Рен.

— Вы идёте со мной, — сказал он.

— Зачем?

— Затем, что если я оставлю вас здесь, через десять минут тут не будет ни вас, ни чая, ни, вероятно, двери.

Это было обидно и совершенно справедливо.

* * *

Зал совета в ратуше Хольма строили для того, чтобы люди в нём чувствовали себя маленькими: высокие окна, дубовые балки, герб Предела над креслом герцога, соляная рыба на синем поле. Сегодня люди в нём чувствовали себя ещё и мокрыми. Кто-то оставил открытой дверь на галерею, и туман вполз внутрь, осел на бархате, на париках, на золотой цепи канцлера.

Крейн оставил Рен на верхней галерее, рядом с писарями, и сказал стражнику у лестницы:

— Если она пошевелится, можете на неё сесть.

Внизу было тесно. Члены совета сидели полукругом, герцог Леопольд — в середине, в кресле, которое было ему велико. Справа от него сидел канцлер Эшгроув, седой, в простом тёмном камзоле; он единственный выглядел так, будто выспался. Рен заметила Олдрика у стены, в форменном плаще стража, и рядом с ним Изольду в перчатках, прямую, как трость.

А посреди зала, на мокром каменном полу, стоял он.

Рен узнала его сразу, и ей захотелось лечь на пол галереи и закрыть голову руками.

Полгода назад, через девять дней после того, как Стена устояла в большой прилив, она сидела перед рассветом на днище перевёрнутой «Кошки» у Чаячьей скалы и ждала Хлебоеда. Хлебоед был приливный, мальчишка, имени которого она так и не узнала, потому что имена у них поют, а не говорят. Несколько недель она меняла ему ржаные краюхи на новости из-за Стены, и это он предупредил её про большую воду, а потом, в ту самую ночь, кто-то снизу перевернул лодку Квилла и вытолкнул ростовщика ей прямо под руку. В кармане у неё была краюха, в другом кармане сыр, и она была счастлива, как бывает счастлив человек, который выжил. Тогда из тумана, из воды, вышел мужчина. Не Хлебоед. Высокий, мокрый, в облепившей тело серо-зелёной одежде, с перламутровой полосой на шее, которая переливалась, как внутренность раковины. Он сказал, что его прислал младший родич, что зовут его Илан, что он посол, и спросил, где тут дают хлеб.

Она, дура, разломила краюху пополам.

Он съел свою половину. Потом её. Потом посмотрел на неё тёмными, почти чёрными глазами, сказал: «Ещё», не дождался, взял сыр, встал и ушёл обратно в море. Без спасибо. Без «до свидания». С её сыром.

Сейчас поверх той же облепившей одежды на нём была длинная рубаха из чего-то серо-зелёного, тонкого и блестящего, перехваченная поясом из ракушек, и широкие штаны, мокрые до колен. Ноги босые. Волосы чёрные, с зеленоватым

отливом, связаны шнуром. На запястьях тот же перламутр, что и на шее. Вокруг него на камне натекла лужа, и советники поджимали ноги.

— Илан из Дома Глубин, — объявил герольд неуверенно, словно не был уверен, что правильно запомнил. — Посол Приливного двора.

— Посол, — повторил герцог и закашлялся.

— Ваши люди стреляли в воду из арбалетов, — сказал Илан. Голос у него был низкий и спокойный, с акцентом, который делал согласные мягче, будто их сначала подержали во рту, как гальку. — Два месяца. Каждую ночь. Вы считаете, что это мы ломали ваши фонари.

— А разве нет? — крикнул кто-то из гильдейских.

Илан повернул голову на голос и смотрел так долго, что гильдейский сел.

— Если бы мы хотели сломать вашу стену, — сказал Илан, — мы бы её сломали. Мы не хотели. Двор хочет перемирия. На сезон весенних приливов, на восемь недель. За это время вы найдёте того, кто ломал фонари, а мы перестанем получать арбалетные болты в спину. Это честно.

В зале зашумели. Олдрик у стены не шевельнулся, но Рен видела, как Изольда наклонилась к нему и что-то быстро сказала.

— Перемирие, — канцлер Эшгроув поднял руку, и шум сам собой улёгся. У него был тёплый голос, как у деревенского священника, который знает всех по именам. — Это

мудрое слово, господин посол. Но как мы поверим вам, а вы нам? Бумаге?

— Бумага мокнет, — сказал Илан. — У нас перемирие скрепляют залогом крови.

— Кровью? — герцог позеленел.

— Помолвкой. Вы даёте женщину из своего народа, я — себя. Мы обручены, пока стоит сезон приливов. Если ваш народ нарушит мир, я свободен уйти, а она… — он слегка пожал плечами, — остаётся опозоренной перед морем. Если мой народ нарушит мир, я в вашей власти. Можете меня повесить. Я слышал, вы так делаете.

Тишина была полной. Даже туман, кажется, перестал двигаться.

— Женщину, — повторил кто-то.

— Любую? — спросил другой, и в его голосе была такая надежда, что Рен прищурилась: у этого, видимо, была тёща.

— Женщину Предела, — сказал Илан. — Свободную. Не замужнюю. Добровольно. Это важно. Если её приведут силой, море это поймёт.

Потом началось то, что Рен потом пересказывала Тамсин три раза, и каждый раз сестра смеялась до икоты. Советники заговорили все разом. Выяснилось, что у главы Рыбной гильдии дочь как раз помолвлена, у казначея дочь слишком молода, у судьи слаба здоровьем, у лорда Пенрита дочерей нет, но есть племянница, правда, племянница в монастыре, и вообще, господа, выдавать девушку за утопленника, даже

на восемь недель, это…

— Я не утопленник, — сказал Илан. — Я ни разу не тонул.

— Это фигура речи, — сказал кто-то.

— Какая фигура?

Никто не стал объяснять.

Крейн внизу стоял у колонны и ничего не говорил. Он смотрел вверх. На неё.

Рен перестала улыбаться.

* * *

— Нет, — сказала она.

— Я ещё ничего не предложил.

— У вас лицо человека, который сейчас предложит.

Они стояли в коридоре за залом, у окна, где на подоконнике спал рыжий кот. Совет объявил перерыв, потому что герцогу стало дурно. Крейн достал из кармана новое яблоко, посмотрел на него и положил обратно.

— Полное помилование, — сказал он. — Не только за этот ящик. За все. За чай, табак, за тот бочонок рома, который вы прошлой осенью провели мимо Пибоди под видом бочонка с селёдкой, а Пибоди потом три дня жаловался, что селёдка пахнет праздником. Чистый лист, госпожа Хейл. Подписанный герцогом.

— А взамен я выхожу замуж за мужика, который ест чужой сыр.

— Простите?

— Неважно.

— Вы не выходите замуж. Вы обручаетесь. На восемь недель. По их обычаю. Живёте под одной крышей с послом, под защитой лорда-стража. Ходите с ним на приёмы. Следите, чтобы его не убили. И, — Крейн чуть понизил голос, — рассказываете мне всё, что он говорит, когда думает, что его не слышат.

— То есть шпионю.

— То есть служите Пределу. Это звучит лучше. Вас, кстати, не спрашивали, но вы подходите идеально. Свободны. Не замужем. Из Предела. И вам нечего терять, кроме репутации, которой у вас, простите, нет.

— Вот спасибо.

— И вы плаваете, как рыба. Это тоже может пригодиться.

Рен посмотрела в окно. Внизу, во дворе ратуши, стражники стояли вокруг фонтана, а в фонтане, по пояс в воде, сидел посол Приливного двора и с интересом разглядывал бронзовую русалку, которая лила воду изо рта.

— Он что, купается? — спросила Рен.

— Им нужно погружаться в солёную воду каждый день. В фонтане солёная вода, его питают из гавани. Мне объяснили утром.

— И если я скажу «нет»?

— Соляные разработки. Год. Я, честно говоря, буду сожалеть, — Крейн сказал это так, что было непонятно, врёт он или нет. — Вы мне нравитесь, госпожа Хейл. Вы врёте хуже, чем думаете, но бегаете очень быстро.

Рен смотрела на фонтан. Илан опустил голову под воду целиком и не выныривал.

— Пусть Тамсин скажет, — сказала Рен. — Мне нужно, чтобы сестра…

— Ваша сестра скажет, что вы взрослая женщина и сами за себя решаете. Она мне это тоже велела передать на случай, если вы попросите её мнения. Удивительно предусмотрительная.

Под водой в фонтане было тихо. Стражник уже стоял на одной ноге, с сапогом в руке.

Рен вспомнила белую пыль соляных разработок. Вспомнила Гарта, который будет ждать свой чай и не дождётся, и что Гарт решит, будто она его сдала, и что в порту тогда лучше будет не появляться. Год ничего не решал: Гарт помнит дольше.

— Восемь недель, — сказала она. — И чай мне вернёте.

— Чай остаётся в казне.

— Половину.

— Четверть, и я забываю про ром.

— Вы и так обещали забыть про ром!

— Тогда без четверти, — согласился Крейн и наконец достал яблоко.

Посол вынырнул, отряхнулся, как пёс, обрызгав стражника с сапогом, и поднял голову. Он посмотрел прямо на окно, хотя никак не мог знать, что там кто-то стоит. А может, мог. Рен не знала, как у них с глазами на суше.

* * *

Совет не возражал. Совет был так счастлив, что сказал бы «да» даже предложению выдать за посла бронзовую русалку.

Рен стояла посреди зала в мокрых после утренней погони сапогах и в куртке, на которой ещё остался рыбий запах коптилен. Советники смотрели на неё, как на кошку, которая принесла дохлую крысу в спальню: с облегчением, что не им, и с брезгливостью, что вообще. Олдрик подошёл ближе, встал за её плечом.

— Вы согласны по доброй воле? — спросил герольд, сверившись с бумажкой.

— Ну, — сказала Рен. — Относительно.

— Она согласна, — сказал Крейн.

Илан подошёл к ней. Вблизи от него пахло морем, настоящим, холодным, с йодом и водорослями, не тем морем, которое гниёт у причалов. Перламутр на шее переливался, когда он поворачивался, розовым и зелёным. Он наклонился, совсем немного, и посмотрел ей в лицо.

— Хлебная женщина, — сказал он. Без удивления, как будто так и задумывал.

— Ты съел мой сыр.

— Да. Он был хороший. Ещё есть?

По залу пробежал смешок. Герцог, которому уже стало лучше, промокнул лоб платком.

— Нужно что-нибудь сказать? — спросила Рен у герольда. — Кольцо там, клятву?

— По нашему обычаю, — сказал Илан, — я отдаю тебе то, что взял у моря. А ты отдаёшь мне то, что держишь в руке.

Он снял с пояса одну ракушку, небольшую, витую, цвета старых зубов, и вложил ей в ладонь. Ракушка была тёплая. Это почему-то Рен удивило больше всего.

— У меня в руке ничего нет, — сказала она.

— Тогда руку, — сказал Илан, взял её руку, повернул ладонью вверх и долго смотрел на мозоли от вёсел, на старый шрам от рыболовного крючка у большого пальца, на ногти, обгрызенные в последнюю неделю. Смотрел внимательно, как Тамсин смотрит на стекло, проверяя, нет ли в нём напряжения. Потом отпустил. — Годится.

— Это всё?

— Это всё. Теперь мы обручены на сезон. Где здесь хлеб?

Советники начали подниматься, загремели стулья. Кто-то уже говорил о том, что нужно устроить праздник помолвки, публично, чтобы весь город видел, что мир заключён, и что расходы, естественно, лягут на казну Стены.

Олдрик тронул Рен за локоть.

— Ты как? — спросил он тихо.

— Нормально. Я только что обручилась с морским чудищем ради того, чтобы не возить соль. Обычный вторник.

— Сегодня среда.

— Тем более.

Он чуть дёрнул углом рта, что у Олдрика Вейна считалось хохотом.

— Он будет жить у нас, — сказал Олдрик. — В башне. Тамсин уже знает. Гедда готовит комнату.

— Тамсин знает? С какого времени?

— С утра. Крейн прислал записку, ещё до того, как тебя повели на допрос.

Рен медленно повернулась к Крейну. Дознаватель стоял у колонны и с невинным видом ел яблоко.

— Вы знали, — сказала она. — Вы знали с самого утра, что предложите мне это. Вы знали, что он придёт.

— Я подозревал, — сказал Крейн. — Работа такая.

— Значит, и Пибоди у будки не спал…

— Пибоди очень ответственный служащий.

Рен открыла рот, закрыла и посмотрела на свою ладонь. Ракушка лежала в ней, тёплая и витая.

— Хлеб, — напомнил Илан у неё над ухом.

— Да слышу я, — сказала Рен. — Пошли. Только ботинки надень, в порту стекло.

Он посмотрел на неё так, будто она предложила ему надеть на голову ведро.

Глава 2. Жених

Матушка Гедда сказала, что видела в жизни всякое. Она видела лорда-стража трёх лет от роду, который засунул в нос сушёную горошину. Видела Изольду Вейн в двенадцать, которая пыталась вызвать оберегом дух покойной бабки и подожгла себе брови. Видела, как в Соляную башню вносили на носилках капитана Остри, и как выносили. Но голого мужчину в своей кладовой, жующего тесто прямо из квашни, она видела впервые.

— Он не голый, — сказала Рен, стоя в дверях кухни в одной рубашке и с полотенцем на голове. — У него штаны.

— Мокрые, — сказала Гедда.

— Ну, мокрые. Это у них национальное.

Илан выпрямился над квашнёй. На подбородке у него было тесто. Он облизал палец, задумчиво, как знаток вина.

— Это хлеб, — сказал он. — Но ещё не хлеб.

— Это опара, — сказала Гедда. — Она должна подойти, а потом в печь. Через два часа будет хлеб.

— Два часа, — повторил Илан с таким ужасом, будто ему назначили два года.

Рен прислонилась к косяку и впервые за три дня рассмеялась по-настоящему.

* * *

Три дня — ровно столько посол прожил в Соляной башне,

и за три дня башня изменилась сильнее, чем за десять лет до того.

Во-первых, в ней поселилось море. Олдрик ещё весной велел провести в нижнюю купальню трубу из гавани, для какой-то надобности со стеклом Тамсин, и теперь эта труба работала без отдыха. Каждое утро, на рассвете, Илан спускался в купальню, открывал заслонку, ждал, пока чан наполнится серой холодной водой с ошмётками водорослей, и ложился туда с головой. Минут на двадцать. Первый раз Гедда чуть не вытащила его за волосы, решив, что посол утопился от тоски.

— Я не утопился, — сказал Илан, когда отплевался. — Я дышал.

— Чем, бога ради?

— Водой. Вы же дышите воздухом. Я не спрашиваю, чем.

Во-вторых, в башне больше не осталось закрытых дверей. Илан открывал все. Он открыл кабинет Олдрика, где на столе лежали отчёты о фонарях, и прочитал три, держа их вверх ногами, пока не разобрался. Он открыл комнату Изольды, когда та переодевалась, и спросил, почему у неё на руках перчатки, если остальное снято. Изольда кинула в него книгой. Книга была толстая. Илан поймал её, поблагодарил и унёс.

— Он не поблагодарил, — поправила потом Изольда, растирая виски. — Он сказал: «Это я беру». Это у них, полагаю, одно и то же.

Он открыл шкаф с бельём, кладовку с метлами и маленькую дверь под лестницей, о которой не знал даже Олдрик и за которой нашлась бутылка тридцатилетней наливки, спрятанная, по всей видимости, ещё отцом Олдрика. Наливку Гедда конфисковала. Олдрик потом долго смотрел на пустое место под лестницей.

— Он просто любопытный, — сказала Тамсин вечером, в мастерской. Днём сестра работала у себя, в «Хейл и дочери», которую Крейн наконец распечатал, а по вечерам растапливала старую печь покойного Тиса в подвале башни, потому что, по её словам, печь двадцать лет скучала и это было неприлично. Рен сидела на ящике с песком и смотрела, как сестра крутит трубку с рыжей каплей стекла на конце. — Ему всё интересно. Ты бы тоже лезла во все двери, если бы тебя поселили на дне моря.

— Я бы не лезла в чужие спальни.

— Ты лезла в мою спальню каждый день до четырнадцати лет.

— Это другое. Ты сестра.

— А он жених.

— Ой, иди ты.

Тамсин засмеялась, повернула трубку, катнула баночку по мраморной плите, и стекло зашипело. Руки у сестры были все в мелких ожогах, старых и свежих, и Рен по привычке пересчитала свежие. Три. Значит, хорошая неделя. Тамсин теперь была почти леди, но из мастерской не вылезала, а на

свадьбу, Рен знала точно, собиралась прийти прямо от печи, и Олдрик это, кажется, только одобрял.

— Он тебя достаёт? — спросила Тамсин, не поднимая глаз от стекла.

— Он задаёт вопросы.

— Какие?

Рен подумала.

— Вчера спросил, почему я сказала Гедде, что суп вкусный, если я его не доела. Я говорю: из вежливости. Он спрашивает: а вежливость — это когда врёшь? Я говорю: нет, это когда не обижаешь. Он говорит: но ты соврала. Я говорю: да, но по-хорошему. И он так на меня посмотрел, Тэм, как будто я ему призналась, что ем людей.

— А суп был вкусный?

— Суп был с капустой.

— А, — сказала Тамсин, которая знала, как Рен относится к капусте. — Ну тогда да. Соврала.

* * *

В-третьих, Илан не носил обувь.

Нет. Это надо сказать точнее. Илан носил обувь в течение примерно сорока шагов, а потом садился, где стоял, снимал её и шёл дальше, неся сапоги в руке, как двух дохлых кошек. Олдрик выдал ему свои старые, разношенные, самые мягкие. Гедда выдала ему войлочные туфли покойного дворецкого. Тамсин сшила ему что-то вроде мешков из парусины на шнурках. Всё кончалось одинаково.

— Это как ходить в двух гробах, — объяснил Илан на четвёртое утро, когда Рен в очередной раз остановила его у ворот башни. — Ногам ничего не слышно. Как вы узнаёте, по чему идёте?

— Смотрим.

— Глазами? — он был поражён. — Всегда только глазами?

— В порту битое стекло, ракушки, рыболовные крючки и то, что вываливается из таверн к утру. Ты не захочешь это слышать ногами, поверь.

— Я захочу, — сказал Илан и пошёл босиком.

Сегодня Рен должна была показать ему город. Это придумал канцлер Эшгроув, и совет одобрил: посол должен видеть Хольм, а Хольм должен видеть посла, мирного, спокойного, гуляющего под руку с невестой. Крейн, передавая это, был очень серьёзен и добавил одно слово: «Внимательно». Олдрик добавил двух стражников в штатском, которые шли за ними на расстоянии двадцати шагов и так старательно делали вид, что гуляют, что на них оглядывались чаще, чем на Илана.

Хольм в то утро был хорош, как бывает хорош только в начале весенних приливов. Туман ушёл рано. Солнце пробивалось сквозь облака и лежало пятнами на мокрых крышах, на черепице, на чайках, которые сидели вдоль каждого конька, как гвозди. Улицы бежали вниз, к гавани, крутыми ступенями, и с каждой ступенькой воздух становился солонее.

Пахло дёгтем, рыбой, свежими булками из пекарни на Ступенчатой, мокрой шерстью сохнущих курток и снова рыбой.

Илан шёл, как ребёнок на ярмарке. Он останавливался у каждой двери. Он трогал стены. Он спросил, зачем на окнах ставни, зачем на ставнях вырезаны сердечки, зачем у женщины на углу корзина на голове, а не в руках, и почему мальчишка у колодца кричит «Свежая селёдка!», если селёдка у него в бочке явно вчерашняя.

— Это называется торговля, — сказала Рен.

— Это называется враньё.

— Слушай, у вас там внизу вообще никто не врёт?

Илан задумался. Он шёл рядом, держа сапоги за голенища, и его босые ступни шлёпали по мокрому камню.

— Врут, — сказал он. — Но когда врут, то знают, зачем. Чтобы спрятаться от хищника. Чтобы выиграть спор. А вы врёте, когда ничего не нужно. Ты сказала той женщине с корзиной: «Прекрасно выглядите». Она выглядит плохо. У неё больные зубы, я видел. Зачем?

— Затем, что ей приятно.

— Ей было бы приятнее, если бы ты сказала ей про зубы. Тогда она бы их вылечила.

Рен открыла рот и закрыла. Иногда с ним было бесполезно спорить, потому что он оказывался прав каким-то кривым, морским образом.

— Ладно, — сказала она. — Пошли, покажу тебе пекарню. Может, хоть там ты заткнёшься.

— Заткнусь, — повторил Илан с интересом. — Чем?

— Хлебом, — сказала Рен. — Хлебом заткнёшься. Это такое выражение.

* * *

Пекарня тётушки Брин стояла на Ступенчатой улице уже лет сорок, и сама тётушка Брин, кажется, стояла в ней столько же: маленькая, круглая, в муке до бровей. Когда в дверь вошёл посол Приливного двора с сапогами в руке, тётушка Брин уронила противень.

Противень был с ржаными булками, посыпанными солью и тмином. Булки покатились по полу. Илан проследил за одной взглядом, наклонился, поднял, посмотрел на тётушку Брин, сказал: «Это я беру» и откусил половину.

Потом он закрыл глаза и долго молчал.

Рен знала это лицо. Такое лицо было у Тамсин, когда получалось идеальное стекло, без единого пузыря. Такое лицо было у старого Гарта Лоскута, когда он пересчитывал деньги. Такое лицо, наверное, бывало у святых на картинах, когда им являлось что-нибудь из лучшей жизни.

— Ещё, — сказал Илан, не открывая глаз.

— С вас два медяка, — пискнула тётушка Брин.

— Что?

— Ты должен заплатить, — объяснила Рен. — Она пекла, ты ешь. Ты даёшь ей деньги. Это и есть торговля.

Илан открыл глаза и посмотрел на неё очень внимательно.

— Я даю ей то, что у меня есть, а она мне хлеб.

— Ну да.

Он полез в складки своей серо-зелёной рубахи, долго там копался и вынул жемчужину. Небольшую, с ноготь мизинца, неровную, но с таким розовым светом внутри, что тётушка Брин ахнула и прижала руки к щекам. Рен прикинула в уме, сколько такая стоит у ювелиров на Медной улице, и ей стало нехорошо.

— Нет, — сказала она быстро и взяла жемчужину у него из пальцев. — Это слишком. Это… Это как если бы ты купил всю пекарню. С тётушкой.

— Я не хочу тётушку, — сказал Илан. — Я хочу хлеб.

Рен вытащила из кармана три медяка, свои последние, и положила на прилавок. Потом подумала, вздохнула и добавила ещё один, чтобы тётушка Брин завернула им четыре булки с собой. Жемчужину она сунула обратно Илану за пояс, и её пальцы коснулись его голой кожи над ракушечным поясом, холодной, гладкой, как мокрый камень. Она отдёрнула руку.

— Ты заплатила за меня, — сказал Илан, когда они вышли.

— Заплатила.

— Почему?

— Потому что ты бы отдал ей целое состояние за булку, и тогда о тебе бы через час знал весь порт, а через два у тебя бы за пазухой не осталось ничего, кроме дырки от ножа.

Он шёл рядом и ел вторую булку. Крошки сыпались на

рубаху. Он их подбирал и тоже ел.

— У нас, — сказал он с набитым ртом, — если кто-то платит за тебя, это значит, что он берёт тебя под защиту.

— Ну вот и бери, — сказала Рен. — Я тебя взяла под защиту. Довольна до смерти.

— До смерти, — повторил он, нахмурившись. — Тебе плохо?

— Это выражение!

— У вас все слова какие-то выражения, — пожаловался Илан. — Как вы друг друга понимаете?

— С трудом, — честно сказала Рен.

Она помолчала, глядя, как он подбирает с рубахи последние крошки, и спросила то, что хотела спросить с самого совета:

— А Хлебоед? Ну, тот, который ко мне ходил. Младший родич. Это кто тебе?

— Брат, — сказал Илан. — Младший. Ему шестнадцать по-вашему. Он сидит дома.

— Почему?

— Потому что перевернул лодку. С человеком. Мать сказала, что приливные не трогают человеческие лодки, даже если в них плохой человек. Он сказал, что человек был очень плохой. Мать сказала, что это не имеет значения. — Илан подумал. — Он передавал, что ему тебя не хватает. И твоего хлеба. Особенно хлеба.

— Скажи ему, что лодку он перевернул правильно, — ска-

зала Рен.

— Я не буду ему этого говорить. Мать меня утопит.

— Тебя нельзя утопить.

— Мать найдёт способ.

* * *

Рыбный рынок в полдень гудел, как улей, в который кинули камень. Торговки кричали цены, мальчишки таскали ящики со льдом, по мокрым доскам текла вода с чешуёй, и над всем этим висел запах, от которого у непривычного человека слезились глаза. Илан вдохнул его полной грудью и улыбнулся. Это была первая его улыбка, которую Рен увидела, и она была совершенно неуместной: широкая, белозубая, как у мальчишки, которого отпустили с уроков.

— Пахнет домом, — сказал он.

— Пахнет тухлой камбалой.

— Да. Немного домом и немного тухлой камбалой.

Они прошли вдоль рядов. Люди замолкали, когда они приближались, и снова начинали говорить, когда они отходили, только тише, и Рен слышала обрывки. «Это он». «Глянь, шея». «Девка Хейлов, младшая». «Продалась». «Да ей что, ей не впервой». Последнее сказала торговка устрицами, у которой Рен в прошлом году брала в долг и до сих пор не отдала. Рен сделала вид, что не слышит. Она умела делать такой вид, она его всю жизнь тренировала.

Илан остановился у прилавка с крабами. Крабы были живые, синие, в бочке с водой, и шевелили клешнями. Илан

смотрел на них долго и серьёзно, а потом сказал что-то на своём языке, коротко, будто окликнул.

Крабы перестали шевелиться. Все разом. Торговец, усатый дядька в кожаном фартуке, побледнел.

— Что ты им сказал? — шёпотом спросила Рен.

— Что мне жаль, — сказал Илан. — Их сварят.

— Ты извинился перед крабами?

— Ты же извиняешься, когда толкаешь людей на улице. А это хуже, чем толкнуть.

Рен хотела ответить что-нибудь смешное, и в этот момент из толпы прилетел камень.

Он был небольшой, с кулак, и летел точно в голову Илану. Рен успела заметить его только краем глаза, серое пятно над прилавками, и не успела ничего, совсем ничего, даже крикнуть. Илан успел. Он не уклонился, он просто поднял руку и поймал камень в ладонь, легко, как ловят брошенное яблоко.

Рынок замолчал целиком.

Двое стражников в штатском уже проталкивались сквозь толпу, сбивая корзины, но тот, кто бросил, был давно не там, где стоял. Рен знала эти ряды. Между ними можно было исчезнуть за три удара сердца, она сама так исчезала десятки раз.

Илан разжал пальцы. На камне было что-то нацарапано, глубоко, ножом или гвоздём. Рен наклонилась, прочитала и почувствовала, как у неё горят уши.

«УТОПЛЕННИК».

— Я ведь говорил им, — сказал Илан задумчиво, вертя камень. — Я ни разу не тонул.

— Это не про то, — сказала Рен сквозь зубы.

— А про что?

Она не ответила. Она смотрела в толпу, на лица, на руки, на рукава. Торговка устрицами отвернулась. Мальчишка с ящиком льда разинул рот. У дальнего края рынка мелькнула чья-то спина в коричневой куртке, мелькнула и пропала за углом коптильни, и Рен готова была поклясться, что знает эту спину. Видела её в «Трёх селёдках». Видела, как она играла в кости с Гартом Лоскутом.

— Пошли домой, — сказала она.

— Мы не всё посмотрели.

— Пошли домой, Илан.

Это был первый раз, когда она назвала его по имени. Он, кажется, это заметил, потому что посмотрел на неё сверху вниз, долго, и кивнул. Камень он сунул за пояс, рядом с жемчужиной. Подумал. Сел прямо на мокрые доски рынка и стал надевать сапоги.

— Что ты делаешь? — спросила Рен.

— Ты сказала, тут битое стекло, — ответил Илан, натягивая голенище. — Если придётся бежать, я хочу бежать быстро.

Обратно они шли молча. Он нёс в руке недоеденную булку и не ел её. Рен шла рядом и считала шаги до башни, как в детстве, когда за ней гнались, и думала о том, что Крейн

сказал «внимательно» и что, кажется, он имел в виду совсем не то, что она тогда подумала.

Глава 3. Покушение

— Не дыши, — сказала Изольда.

— Я и так не дышу уже минут десять.

— Значит, у тебя большой запас. Ещё немного.

Шнурок корсета затянулся на Рен, как петля на шее у браконьера. Она стояла посреди комнаты Изольды, держась обеими руками за столбик кровати, и смотрела в окно, где над гаванью садилось солнце, красное, как раскалённая баночка стекла на трубке у Тамсин. Платье было синее, тяжёлое, с серебряной вышивкой по подолу в виде волн. Его сшили за три дня по приказу казны, и Рен подозревала, что в цену платья ушёл весь годовой запас ламповой ваты для южного участка Стены.

— Зачем вообще эта штука? — простонала она.

— Корсет держит осанку, — сказала Изольда, завязывая узел точными, почти хирургическими движениями. Перчаток она не сняла даже для этого. — Сегодня на тебя будет смотреть весь Хольм. Половина из них уверена, что ты продалась морю за мешок жемчуга. Другая половина надеется, что посол утащит тебя на дно прямо из-за стола. И тем и другим ты должна показать спину, которая не гнётся.

— Мою спину они и так увидят, когда я сбегу.

— Ты не сбежишь.

— Откуда тебе знать?

Изольда отступила на шаг и оглядела её, как оглядывают чертёж оберега, ища ошибку в линиях.

— Оттуда, — сказала она, — что ты могла сбежать каждую ночь из семи, которые прожила здесь. Окно не заперто. «Кошка» стоит у нижнего причала. Ты не сбежала. Значит, тебе есть зачем оставаться, и это, полагаю, не помилование.

Рен ничего не ответила. Она смотрела на своё отражение в тёмном стекле окна: синее платье, волосы, которые Гедда час назад пыталась уложить, а Рен час назад пыталась распустить, и в итоге получилось что-то среднее, похожее на воронье гнездо после бури.

— Мне просто интересно, кто бросил камень, — сказала она наконец.

— Это тоже причина, — согласилась Изольда. — Не единственная.

* * *

Праздник помолвки устроили во дворе ратуши, под открытым небом, потому что совет решил: мир с морем надо праздновать так, чтобы море видело. Столы поставили буквой «П», застелили белым, на белом разложили всё, что смогла собрать казна, урезанная герцогом ещё зимой: копчёный угорь, пироги с треской, сыры, мёд в сотах, горы хлеба, потому что посол, как уже знал весь город, ел хлеб так, как другие пьют воду. Над столами натянули гирлянды из бумажных фонариков. В центре двора стоял тот самый фонтан с бронзовой русалкой, и вода в нём тихо плескалась, со-

лёная, серая, пахнущая гаванью.

Народу было много. Гильдии, советники, жёны советников, богатые торговцы, капитаны. Простой люд толпился за оградой, по ту сторону кованых ворот, и стражники держали их на расстоянии алебардами.

Илан сидел рядом с Рен во главе стола и был обут.

Это было так неожиданно, что Рен первые полчаса не могла есть: всё косилась вниз, на его ноги в мягких сапогах Олдрика.

— Ты заболел? — спросила она наконец.

— Ты сказала, если придётся бежать, — ответил Илан, разламывая хлеб. — Здесь очень много людей. Кто-нибудь может бросить не камень.

— Ты всегда такой весёлый на праздниках?

— У нас праздники проходят тихо. Мы плаваем в тёмной воде и смотрим, как светятся медузы.

— Звучит как поминки.

— Что такое поминки?

— Праздник, когда кто-то умер.

Илан подумал.

— Нет, — сказал он. — Когда кто-то умирает, мы поём. Всю ночь, пока не начнётся отлив. Чтобы душа не ушла с водой слишком рано и успела попрощаться.

Он сказал это просто, с хлебом во рту, и Рен вдруг стало неловко за поминки, за шутку, за весь этот двор с его бумажными фонариками.

Канцлер Эшгроув встал первым, чтобы сказать речь. Говорить он умел. Он говорил о Пределе, о Стене, которая триста лет хранит город, о том, что даже между самыми далёкими народами возможен мост, если строить его терпеливо, камень за камнем. Он улыбался Рен через стол, как старый дядюшка, который гордится непутёвой племянницей, и она невольно улыбнулась в ответ. Герцог кивал после каждой фразы. Тамсин, сидевшая через два места от Рен, рядом с Олдриком, тихо фыркнула, когда речь дошла до мостов, и Олдрик, не поворачивая головы, наступил ей на ногу.

Потом начался обряд. Человеческий, объяснила Изольда послу заранее, чтобы показать горожанам, что всё по-настоящему. Жених и невеста пьют из одной чаши. Сначала невеста, потом жених. Это значит, что они делят всё: и сладкое, и горькое.

Чашу сделала Тамсин. Она работала над ней три ночи, и Рен видела, как сестра выдула и выбросила восемь штук, прежде чем получилась девятая. Чаша была из соляного стекла, бледно-зелёная, с пузырьками, как морская пена, тонкая, как яичная скорлупа, и когда Тамсин ставила её на стол, она тихо и низко звякнула. В неё налили красное вино из кувшина, который принёс слуга в ливрее ратуши. Вино было тёмное, почти чёрное в зелёном стекле.

— Невеста, — объявил герольд.

Рен взяла чашу двумя руками. Все смотрели. Она чувствовала, как они смотрят, кожей, через синее платье, через

корсет, через тридцать слоёв одежды, которые на неё надели. Она поднесла чашу к губам и отпила.

Первым было вино. Кислое, дешёвое, совсем не то, которое стоило подавать на таком празднике. Потом, через долю мгновения, на корне языка, проступило другое. Горечь. Не винная горечь, а сухая, травяная, с оттенком, который она знала. Однажды, два года назад, Гарт Лоскут дал ей переправить флягу с юга, маленькую, оплетённую лозой, и сказал: «Не открывай, руки отвалятся». Она открыла. Она всегда всё открывала. Понюхала и сразу закрыла, но запах остался на пальцах на два дня: полынь, горькая, как зола, а под ней что-то сладковатое, гнилое, будто миндаль, который полежал в сыром погребе.

Вдовья полынь. Её так называли в порту, потому что вдов от неё бывало много.

Илан уже протягивал руку за чашей.

Рен не думала. Она потом много раз пыталась вспомнить, о чём думала в этот момент, и честно не могла. Её рука просто дёрнулась, и чаша Тамсин, девятая, лучшая, тонкая, как скорлупа, вылетела из её пальцев, ударилась о край стола и разлетелась брызгами зелёного стекла и чёрного вина. Вино плеснуло Илану на рубаху, на сапоги Олдрика, на белую скатерть.

Двор ахнул.

— Не пей, — сказала Рен. Голос был чужой, хриплый. — Вино. Там полынь.

И сплюнула на землю то, что ещё оставалось во рту. Слюна была розовая.

Потом всё случилось очень быстро и одновременно. Олдрик перемахнул через стол. Крейн, который до этого сидел где-то в конце, у самого края, уже стоял у кувшина и держал за шиворот слугу в ливрее, вернее, держал пустую ливрею, потому что слуга из неё выскочил, как устрица из раковины, и исчез в толпе. Кто-то закричал. Кто-то опрокинул лавку. Тамсин схватила Рен за плечи и смотрела ей в лицо, и лицо у Тамсин было белое.

— Сколько? — спросила сестра. — Сколько выпила?

— Глоток. Немного. Я выплюнула.

— Сколько, Рен?

— Тэм, я… — Рен хотела сказать, что всё в порядке, но язык вдруг стал тяжёлым и толстым, как мокрая верёвка. Двор качнулся. Бумажные фонарики над головой поплыли вбок, медленно, как медузы в тёмной воде.

Последним, что она увидела, было лицо Илана. Он стоял над ней, и вино стекало у него по шее, по перламутровой полосе, и он не вытирал его. Он смотрел на осколки чаши у себя под ногами. Потом поднял глаза на неё, и Рен впервые увидела, что он испугался.

* * *

Ей снилось, что она плывёт.

Не так, как плавала обычно, сильно, загребая руками, чувствуя, как вода сопротивляется. Она плыла вниз, медленно,

и вода была тёплая и тёмная, и не нужно было дышать. Где-то впереди, очень глубоко, горел свет, мягкий, зеленоватый, как свет в соляном стекле, когда Тамсин ставила фонарь перед лампой. Рен плыла к нему. Ей было хорошо. Её тянуло туда, как тянет к печке в мороз.

А потом она услышала песню.

Песня шла сверху, сзади, отовсюду. Без слов, или со словами, которых она не знала. Низкая, ровная, похожая на то, как гудит Стена, когда по ней проходишь ночью и прикладываешь ладонь к солекамню. Песня держала её. Не тянула обратно, нет, просто держала, как держат ребёнка за воротник, когда он слишком близко подходит к краю причала. Рен рассердилась. Ей хотелось к свету. Она дёрнулась. Песня не отпустила.

Тогда ей стало холодно, очень, до костей. Её начало трясти. Потом рвало, долго, мучительно, и кто-то держал ей голову над тазом, и рука, которая держала, была прохладная и пахла морем. И песня не прекращалась ни на мгновение, даже когда её рвало, даже когда она плакала от того, как болит живот.

Под утро Рен открыла глаза.

Она лежала в своей комнате в башне, на своей кровати. Синее платье с неё сняли, и корсет тоже, спасибо всем богам моря и суши. На ней была старая рубаха Тамсин, большая, мягкая. Окно было приоткрыто, и в комнату тянуло сыростью и криками ранних чаек.

Илан сидел на полу у кровати, прислонившись спиной к стене, и пел.

Голос у него сел. Песня была уже не песней, а хрипом, тихим, на одной ноте, но он продолжал. Глаза у него были закрыты. Рубаха в засохших пятнах вина. Сапоги валялись в углу, один на боку, другой стоял. Ноги босые, и ступни, Рен заметила, были странно бледными, сухими, с трещинками на пятках.

— Эй, — сказала Рен. Голос у неё тоже был не лучше. — Хватит. Я живая.

Он открыл глаза. Песня оборвалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.